

Размышленія у врат Нового Града

Историки и соціологи нерѣдко попадают в положеніе мольеровских докторов, предпочитающих, чтобы больной помер по правилам науки, нежели выздоровѣл вопреки им; либо художника из сказки, извявшаго статью, превращающуюся в живую женщину. Они создают рабочія гипотезы, вычерчивают схемы исторического развитія, подводят разрозненные, выхваченные из гущи жизни, факты под категоріи «стадій», «періодов» — и вот: схемы наполняются кровью и обрастают плотью, стадіи выстраиваются в ряды, такие стройные, что нельзя удержаться от соблазна приписать всю эту красоту и гармонію дѣйствію каких-то законов; далѣе — раз уж произнесено слово закон, — оно дѣйствует магически: законы начинают требовать, чтобы с ними и обращались, как с таковыми, чтобы их чтили и не смѣли их нарушать. Да и как бы дерзнул на это историк? Вѣдь, он не издает исторических законов; он их только констатирует. Поразительна при этом безпрекословная законопослушность историков, иногда заходящая так далеко, что перед любым «временным правилом» историк готов склониться, как перед законом. Вот примѣр: в своей статьѣ о пятнадцатицм планѣ («Новый Град», № 5), И. Н. Савицкій устанавливает ритмику хозяйственного развитія Россіи за годы 1893-1926. Оказывается, что за это время было два періода подъема, каждый в 7 лѣт, и два — депрессіи, — каждый в 10 лѣт. «Закон» развитія Россіи готов. Что первая «десятілѣтка» пришлась на время русско-японской войны и первой революціи, а вторая — второй революціи и гражданской войны, и, наконец, вторая «семилѣтка» — на время міровой войны и вызванной ею интенсификаціи тяжелой промышленности (ср. замѣчанія С. І. Гессена на статью П. Н. Савицкаго там же), — а войны и революціи не бывают же непремѣнно каждые 7 или 10 лѣт, — это автора не смущает: закон ритмики установлен из наблюдений над оборотом, количеством пущенных на рынок

продуктов и т. п., при намѣренном игнорированиі «посторонних» экономикъ явлений: войны и революціи — вѣдь, это все-го лишь эпифеномены, показатели, а не факторы.

Приведу еще один примѣр, вычитанный мною из того же номера «Нового Града», это мнѣніе Г. П. Федотова, цитируемое И. И. Бунаковым в статьѣ «Хозяйственный строй будущей Россіи», — что плановое хозяйство в этой будущей Россіи невозможно, потому что Россія еще не прошла до конца капиталистической стадіи. Миѣ кажется, что вполнѣ прав И. И. Бунаков, видящій в этом умозаключеніи Г. П. Федотова гипоставированіе исторических понятій. Непонятно, почему это непремѣнно надо изжитъ до конца одну «стадію», чтобы перейти к другой, — если только не усвоить себѣ той точки зрѣнія, что народы и государства то же самое, что и единичные организмы: нельзя насаждать плановое хозяйство в странѣ, еще не переболѣвшей тѣм, что зовется Hochkapitalismus, как нельзя, скажем, кормить сырым мясом собаку, еще не переболѣвшую чумой. Таково то, быть может, и неосознанное, а-ргіогі, что лежит за разсужденіями с «стадіяхъ» исторического процес-са и основываемыми на изученіи этих стадій прогнозами и про-граммами.

Все это — предисловіе к тому, что хочется высказать по поводу главной темы «Нового Града», того вопроса, вокруг ко-тораго ведутся сейчас споры в самом «Новом Градѣ» и около него, споры, основанные нерѣдко на недоразумѣніи, нежеланіи понять чужую мысль, подчас и боязни понять, — о «достиже-ніяхъ» Совѣтской Россіи и о послѣдствіяхъ этих «достиженій». И вот мнѣ думается, что, несмотря на то, что формально прав И. И. Бунаков в своих возраженіях Г. П. Федотову, по суще-ству — поскольку дѣло идет о предвидѣніи будущаго, прав не он, а его антагонист. И. И. Бунаков разсуждает, казалось бы, вполнѣ здраво: цивилизованный мір идет — это не подлежит сомнѣнію — к плановому хозяйству; недопустимо, чтобы этот процесс не захватил Россіи, когда в ней возстановится право-порядок, чтобы не была использована там вся арматура для этого хозяйства, которая останется в наслѣдство от нынѣшняго порядка; будущее правительство будет вынуждено ити по пути регулировки хозяйственной жизни, ибо иначе как сможет

Россія занять подобаюче ей мѣсто в ряду других народов? Наконец, кто даст денег Россії без гарантії, что эти деньги будут употреблены цѣлесообразно и планомърно, а не расхищены? А денег, разумѣется, понадобится очень много. Вѣрит И. И. Бунаков и в то, что в Россіи найдется немало людей, пріученныхъ опытом, пусть и уродливым, к веденію такого планового хозяйства. Все это вѣрно, но только все же: вывод из всѣх этихъ соображеній вытекает с необходимостью при одномъ допущеніи, одномъ а - р г і о г і: революціонная власть, революціонный уклад будут ликвидированы, — и сразу же наступит полное отрезвленіе, радикальное исцѣленіе общественной души, общая готовность приступить к возстановленію государства при помощи самыхъ лучшихъ способов, самоновѣйшихъ средств и по самому рациональному плану.

И. И. Бунаковымъ все принято в расчет — кроме одного, первостепенной важности условія, условія настолько непримѣнного, постоянного, неустранимого, что его можно, пожалуй, возвести на степень исторического закона. Общество не есть организм, не есть *«individuum»*, саморазвивающаяся, имманентному закону развитія подчиненная величина; у него нет никакой собственной ритмики развитія — и нет ея у его отдельныхъ сфер, каковы хозяйство, вѣра, язык, литература и т. д., и т. д. Всѣ законы, которымъ якобы безусловно подчиняется жизнь этихъ сфер, — не болѣе как формулы, приблизительно выражаютъ каждую соответствующую кривую развитія, на самомъ дѣлѣ обусловленную взаимозависимостью всѣхъ этихъ кризисовъ. Но общество состоит изъ людей, и его жизнь не что иное, как жизнь этихъ людей. Человѣческая же природа неизмѣнна. Люди могут по разному глядѣть на мір и на себя, по разному думать, вѣрить, разнаго желать. Но всегда и повсюду ихъ жизнь подчиняется закону своей собственной ритмики, ритмики *«подъемовъ»* и *«депрессій»*. Революціи сопровождаются такими подъемами, вызываютъ ихъ въ обществѣ, — или сами ими вызываются: обѣ русскія революціи были въ значительной степени обусловлены накопившимся въ военное время нервнымъ подъемомъ масс, почувствовавшихъ свою силу, подъемомъ, получившимъ, послѣ демобилизаціи, новое направление; проявленіемъ инерціи, заставившей эти массы, отброшенныя отъ фронта, кинуться на тыл.

Тогда легко было подсунуть массам новые стимулы к активности, осмыслить их потребность в деятельности новыми мотивами, переключить еще не израсходованную энергию. Неверно представление, будто последняя революция была результатом депрессии, усталости от войны: главная масса демобилизованных с оружием в руках состояла из едва только мобилизованных и получивших оружие, не имевших ничего против того, чтобы податься — лишь бы не с немецким страшилищем. Революция есть такой психический «подъем». Но никакой подъем не может длиться бесконечно. Он может искусственно поддерживаться, пока революция не избыта, пока люди подчиняются особого рода автоматизму революционного уклада с теми его особенностями, которые, являясь по существу отрицанием всего того, что связывается в нашем сознании с понятием «быта» — нормальное рабочее время, обеспеченность кровом и пищею, устойчивость существования, — сами слагаются венный быт, сносный в силу привычки, но в котором свежий человек мог бы в несколько дней; этот «подъем», искусственно поддерживаемый разными революционными наркотиками (митинги, собрания «ячеек» и т. п.) сам является составной частью революционного быта. В конец концов, какой-нибудь случайный толчек, возникновение какого-нибудь центра новой кристаллизации сил может привести к крушению революционной власти. Тогда революционный подъем, держащийся революционным бытом и сам этот быт поддерживающей, сразу идет на убыль, становится «депрессией». В этом — главная черта послереволюционных реакций, — в усталости от революционных оказательств, от революционного «строительства», от сперва, может быть, искреннего, а затем наигранного революционного энтузиазма; в нежелании чего-то добиваться, куда-то и к чему-то стремиться, за что бы то ни было бороться. На этом основывается прочность послереволюционных режимов, режимов передышки, санаторного лечения. Послереволюционная «реакция» это вовсе не непременно торжество «темных сил», не возврат ко всему тому, с отрицанием чего революция началась; это по своему существу реакция «сбывательщины» против «гражданственности» и государственности; это, если угодно, новый бунт, природу которого удивительно мягко выразил И. В. Гес-

сен (в своем письме в редакцию «Нового Града»), сравнивший его с бунтом Подколесина против Кочкарева.

Я не знаю, насколько приемлемо утверждение Ф. Степуна («Новый Град», № 5) о «той творческой страсти, с которой русский народ впрягся в коммунистическое дело». Вприне, я убежден, что эта формула никуда не годится. Ведь, если действительно русский народ — а не отдельные лица, не ничтожная часть его — впрягся в коммунистическое дело, да еще с «творческой страстью», то почему же он не завел коммунистического строя? Кто ему помешал? Или что? «Закон стадий развития»? Или то, что вообще коммунизм неосуществимая вещь, ибо он «противен человеческой природе», как думают иные? Но я сомневаюсь, чтобы так думал и Ф. Степун. Я знаю только одно: если революционный режим в России рухнет, это будет означать, что никакой «творческой страсти» у русского народа больше нет.

Повторяю, исход всякой революции это торжество индивидуального начала над началом колlettivnosti, — причем слово «индивидуальное начало» я употребляю в упрощенном, приниженнем смысле. Просто — это торжество тех настроений, когда everyone-у хочется, чтобы его оставили в покое, никуда не звали, не тащили, и никакой новой общественной нагрузки на него не наваливали. А эмигрантская élite как раз это ему готовит.

С русской эмиграцией происходит, таким образом, нечто аналогичное тому, что было с французской. Это грубое обобщение, будто французские эмигранты «ничего не забыли и ни чему не научились». И в той эмиграции была своя élite, которая научилась, глядя на революционный опыт со стороны, неся сама никакой революционной нагрузки, очень многому, пришла к мыслям, которыми мы и по сей день питаемся. Та реставрация, которую проповедывал Жозеф де Мэстр — недаром Сен-Симон считал его своим учителем, — разве лишь своей символикой была похожа на реставрацию Людовика XVII и Карла X. Он хотел, подобно Н. А. Бердяеву, «нового средневековья», в сущности — углубления революции, такого отрицания ее, которое было бы ея истинным, должным,

идеальным «утвержденiem». Если бы Жозеф де Мэстр дожил до наших дней, он бы непременно включил в свою программу «плановое хозяйство» и одобрил бы евразийское учение об «идеократии», признав его своим. Но французы больше уже ничего не хотели «утверждать». Идеология Ж. де Мэстра была использована только теми, действительно «ничего не забывшими и ничему не научившимися» эмигрантами, которым она послужила прикрытием для их домогательств о возвращении им их имений; а в своей сен-симонистской транскрипции она стала идеологией вовсе не цэлого интеллигентского «кордена», а небольшой и по началу весьма мало влиятельной секты.

На этом аналогия кончается и начинается расхождение в положении обеих эмигрантских élites — французской и русской. Можно предвидеть, что в будущей России судьба так называемых переволюционных идеологий окажется много худшей, нежели судьба французских. Французская революция, бывшая, как таковая, как массовое движение, проявлением коллективистического начала, по своим целям, своим «достижениям», была индивидуалистична. Реакция против революции была поэтому реакцией не против революционной политики, революционной программы, революционных достижений, но против революции, как режима, как общественного состояния, против ее продолжения, ее «углубления», ее тактики, ее методов. Европушан — существо, в мышлении которого преобладают ассоциации по смежности, почему это мышление грубо-символистично. Расхождение между революционным процессом и революционной «душой», существом революции, было во Франции настолько велико, что реакция против революции, бывшая, как массовое явление, реакцией заработавших на революции, а не ушибленных ею, — «les saisisfaits», — не коснулась ее символики, ее фразеологии. Напротив: она обеспечила, если не успех по-революционных идеологий, то во всяком случае синхронительно-равнодушное отношение к ним обывателя. Сен-Симон, Ог. Конт, Фурье, Пьер Леру казались мосье Прюдому «своими людьми», исповедниками «великих принципов 89 года», между тем как де-Мэстра и де-Бональда, союзников «попов», он ненавидел острые ненавистью, — хотя носители переволюционных идеологий стояли гораздо ближе к этим послед-

ним, нежели к идеологами 89 года, а тѣм болѣе — к москѣ Прюдому и к флоберовскому москѣ Омѣ.

Совершенно иначе обстоит дѣло сейчас. Русская революція колективистична по всему своему существу, и естественно ожидать, это реакція против нея направится на все, что только так или иначе отзывается ею. Обывательский либерализм и индивидуализм на первое время, послѣ ликвидаціи ея, восторжествует по всей линії, выражая себя в отвращеніи как от реставраціи так и от сколько-нибудь планомѣрной реституціи. Не в силу дѣйствія несуществующаго закона смыны стадіи общественной эволюціи, а просто в силу психологических законов, управляющих душевной жизнью отдельных людей, русское возстановленіе будет происходить анархически, враздробь, ощупью, образуя то, что зовется «періодом первоначального накопленія».

Представители эмигрантской элиты, выразители пореволюціонной общественной мысли надѣются найти отзвук у подрастающих в Россіи поколѣній. Материал, которым мы располагаем, слишком отрывочен, случаен, скучен, чтобы на основаніи его можно было бы дѣлать какія-либо прочныя заключенія относительно того, чѣм живут и дышат люди, дѣтство и юность которых протекли в революціонной обстановкѣ. Но насколько можно судить по тому немногому, что нам известно, настроенія нынѣшней русской молодежи скорѣе служат подкрепленіем догадок, высказываемых мною. Воспитаніе соціального сознанія и соціального чувства в атмосферѣ взаимнаго подсиживанія и обязательного взаимнаго шпионажа, внѣдреніе в сознаніе основоположений соціального права в атмосферѣ страшнаго бесправія, принудительная игра на голодный желудок в соціальное строительство, — каковы могут быть результаты всего этого? Для слабых — духовная гибель. А для сильных, стойких, выносливых? О них мы располагаем замѣчательным человѣческим документом. Это «Хожденіе по вузам» Москвина. В людях, обладающих разумом и волей, эти условія жизни воспитывают, во-первых, готовность стоять за себя, умѣніе позаботиться о себѣ, не растеряться в затруднительном положеніи, привычку полагаться только на самого себя; во-вторых, недовѣріе ко всяkim «планам», к колективным начинаніям, к со-дѣйствію, ко

всему, что предполагает подчинение общественному руководительству. И. И. Бунаков считает, что невозможно сейчас возвращаться к Адаму Смиту. А мы думаем, что даже не Адам Смит, а Еремия Бентам должен пройтись как раз по вкусу русскому «новому человеку», а вместе с Бентамом и теоретики формальной, «буржуазной» демократии, отживающей в Европе и в Америке: ибо сейчас для русских людей минимальная гарантia личной неприкосновенности и свободы личной инициативы в хозяйствовании — это самое желанное, жизненно-необходимое: тогда как самая, казалось бы, полезная вещь, раз только она хоть чём-нибудь напоминает ту единственную форму коллективистического строя, какую довелось узнать, окажутся психологически непримлемыми, уже просто как одиозные символы.

В таком случае какова будет роль «элиты»? Ей остается на выбор: или взять на себя роль пушкинской дамы, которая «толкует Ся и Бентама», или замкнуться — конечно, не в «коридон», который собирался основать И. И. Бунаков и которому он сулит широкие перспективы, — даже не в секту, а в самый обыкновенный интеллигентский кружок. Она планирует Новый Град, рисующийся ей чём-то вроде Чикаго или Нью-Йорка, — и скажет спасибо, если ей будет позволено спастись в зазолустном скиту. На худой конец — и это ничего. Рано или поздно жизнь проложит к скиту тропинку.

П. Михайлов.